И.К.

Хорошая девочка Гуля

Ґуля болела, и отец сидел возле постели. Волны жара накатывали и обрушивались мраком, и чтобы не потеряться, она держалась за отцовский палец. Палец толстый, длинный, надежный.

– Папа, расскажи! – требовала Ґуля. Слова пролетали над томой и жаром, лишь после она сложила их и получила Нечто. Это была история о том, как она появилась на свет. Других сказок отец не знал. А пока она слышала сквозь бред и дремоту:

– Я-то сколько к тому времени проработал, уж и лысеть начал... Смотрю – покупает двести граммов мятной карамели. То-оненькая! Младшие сестренки повырастали, а платья – ей, потому что не росла уже. Такое было питание. Маруся... Ей бы другое имя не подошло. Ґоворю: я так и знал, что Маруся! ... Привез домой, а мама моя, твоя бабушка, значит, поглядела да и скажи: не-ет, Петенька, не останется она, не станет тут жить, не-ет! Улетит твоя птица! Чересчур молода, и чем только ты ее взял? Шибко ты у меня не бравый, Петенька! – и Ґуле кажется, она видит бабушку, как та сидит в глубоком кресле, и черное платье закрывает даже носки ее туфель. Улетит птица, фью-у! И птица кружит в синей вышине, белые крылья, мягкие перья... И снова от птицы – в темную глубину, на самое дно. И вновь свет, к поверхности, где мерно звучит отцовский голос:

– То-оненькая... А – нет, ошиблась мама. Живет. Волосы – вороново крыло, вся стать – правильная, справедливая. Думалось, ты в нее пойдешь, да непохоже. Видно, в нашу породу удалась.

Мама быстрая, неуловимая, только след горьковатых духов в воздухе – и нет ее. А папа – вот он. Он и обед стряпает, всегда один и тот же: суп с пшеном и картофельный салат с копченой селедкой. Подпоясется полосатым кухонным полотенцем и серьезно, неторопливо возится с керосинками, с кастрюлями, и мурлычет под нос неразборчивые песни: я... за сестру тебя молю... Расскажите вы ей, цветы мои... Папа изучен от макушки до подошв, он понятный и свой собственный,

прилаженный точно по Гуле.

– Пап, какая у тебя красивенькая головка! Огурчиком. Только нету желтенького цветочка на макушечке.

Мама – совсем другое. Ничего не жаль, чтоб посмотреть на маму в выходном платье, озабоченно, прикусив губу, глядящую в зеркало, – ну ничего не жаль! Не отводя глаз от себя – той, другой, протягивает руку за флаконом, опрокидывает, прижав крепко пробку, чтоб потом этой пробкой, ее носиком, провести за ушами и вокруг шеи. А папа снимает последнюю пушинку с маминого плеча и склоняется к Гуле:

– А ты, дочушка, спи. Закроешь глаза – и спи. А откроешь – уже утро, и мы дома!

Гуля никогда не была нескладным подростком. Она довольно рано приняла тот облик, который держался долго, до глубоких морщин: смуглое личико, циркулем обведенные глаза, оттопыренные губы и легкая челка. Детское лицо и ладная, подобранная фигурка – вид чистосердечного и [illegible] белобрызного пионерского детства, да кончилось оно быстро, это детство... Но пока оно блаженно длилось, Гуля открыла с помощью учителя истории, что город не всегда был таким, каким она его узнала. Заглянув в прошлое, как в колодец, она почувствовала ход времени – открытие было ошеломительно. Кронштот, Заячий остров, Литейная перспектива – старые имена уводили во тьму, освещали ее, вырывали из нее то угол суровой парусной холстины, то запах дегтя, то рубленую избу на месте нынешнего дворца. Исхоженные переулки, истоптанные мостовые – привели не к известному – к новому, хотя и старинному. Второе дно! Избыток значений! Ей хотелось натянуть матросскую робу, приставить к глазам складную трубу, увидеть море – не укрощенную, дисциплинированную воду, а стихию. Летом в лагере их остригли, затылок холодило, мальчишки лазали на деревья, – юбка мешала, и это ощущение неудобности одежды она привезла домой. Ростры на фоне Петропавловской крепости звали в плавание, близость воды определяла уклад жизни на острове: осенью следовало ждать наводнения, и она злилась, что воды – боятся. Для нее эта вечно бегущая влага была голосом издалека, зовом, напоминанием, дыханием неизвестного. Земля медленно качалась на округлой глади океана, и медленно вы-

плывали иные острова...

Трамвай звенел на поворотах, гриппозным ветром несло с набережной, бочки, бухты каната, облезлые ялики громоздились под боком у парапета, — и внезапно все это отъехало в неведомую даль, а первый план заняли предметы, до сей поры не имевшие смысла и значения. Впереди четко печатал по булыжнику морячок из училища, ленточки вились над донышком бескозырки, пытаясь сорваться, а стриженый затылок его рос прямо из воротника. Кинуться вслед, заглянуть в грозовые, в синие — глаза! Ею выстрелило — курносое сонное лицо, и глаз-то никаких нет! Курсант хмыкнул в ответ на ее невразумительное бормотание и пошел своей дорогой. Она доползла до тротуара, спиной привалилась к грубому русту-стенки. Ноги дрожали, сердце колотилось, руки не держали сумку. Где-то вдоль набережной топал еще курносый возмутитель ее спокойствия. Что случилось? Должно быть, это болезнь.

— Пап, ты послушай, чего со мной сегодня было! Комедия прямо! — с трудом подбирая слова, она повествовала, но как передать ошеломление, свист ветра, головокружительный полет, волшебно исчезающую цель? — Но у меня нет температуры, вот попробуй, пап! Правда же, нету?

Отец ссутулился, сгорбился и забарабанил по синему вечернему стеклу. Он то тревожно взглядывал на нее, застыв с ложкой в руке, то не отрывал глаз от тарелки. Но что-то стало с ее зрением. Словно и мать, и отец уменьшились в размерах и оторвались от нее, чтоб двигаться и говорить на безжалостно белом экране — так ясно она их видела. Лысый старик с осторожными движениями; черные нарукавники он снимает и аккуратно вешает на спинку стула и лишь после этого проводит озябшими пальцами по темени, — это отец. Сухощавая женщина с мелким лицом, с заученно-лукавой улыбкой, с морщинами у висков — это мать. Стулья с дермантиновыми сиденьями, клеенка на столе, сосновый букетик, два фикуса у низкого подоконника, — все это съежилось и особенно рельефно выглядело сейчас, все это, составлявшее до сего дня ее цельное существование — разбилось, расползлось частями, и не склеить,

не соединить в прежнем порядке. Леденящее дыхание открытых горизонтов коснулось ее волос.

И пошли стихи - защитой от резкости увиденного, от впервые заговорившего столь отчетливо одиночества. Она хотела забыть - и воскрешала в непослушных строчках конопатого курсанта, колючий рust старинного строения, и ветер с Невы, и неодолимую силу тяготения... Слова корячились, перепрыгивали, мешали, озадачивали, говоря совсем не о том, что она хотела им задать. Наконец, она их укротила, изгнав прелесть непричесанности, и переписала высокомерным почерком. О себе стоило подумать! В ней, доселе невзрачной и рядовой, наметилась некая ценность. Охраняя новизну ощущения, она выучилась помалкивать, значительно надувать губы и опускать глаза. Со школьными красавицами перестала знаться. И с ненужным пафосом принялась говорить, что в человеке важна не внешность, а богатство души. К ней стали прислушиваться... Она решилась и отнесла в стенгазету стихи. Но газету, где стихи, на фоне снегопада, были переписаны от буквы до буквы, никто не заметил. Только толстая Людка сунула нос:

- Ох ты! Стишки! Вон как складно-то! А это про что, не поняла я, про что? Из автобиографии или так, из фантазии?

Гуля насупилась, и слезы проглотились. Хотелось содрать полотнище газеты, разорвать, смять, и бить, бить в румяное, лупоглазое лицо Людки.

- А чего! - сказала Людка и покрутила головой. - Мне бы так нипочем не сложить. Не сварганить! Прямо ты у нас поэт! Писа-атель!

- Да, я буду поэтом! - сказала Гуля убежденно и почувствовала, что глаза у нее светятся желтым светом, как у кошки. Она привела Людку домой и усадила делать уроки. Людка быстро начала зевать в кулачок и разочарованно оглядываться по сторонам:

- А Васькова болтала, у вас аксолотль содержится, живой! Или не аксолотль? Хамелеон? Зеленький такой, с хвостиком!

Мать снимала зеленую кофту с пуговицами-бомбошками.

- Мам, познакомься, это Люда. Мы друзья.

Мать повесила кофту в шкаф, внимательно глядя в зеркало, подправила бровь: – Давно?

Назло ей, что ли, – продолжала Гуля втискивать в податливую людкину толщину свои секреты и рифмы?

Форменное платье она ненавидела. Едва звенел звонок, стаскивала с себя фартук и запихивала в портфель, раздавливая пухлые бутерброды и сажая повсюду жирные пятна. Борьба с красавицами достигла критической точки: ее слушали, посмеиваясь, а красавицы стали являться на школьные балы со знакомыми мальчиками. И не-красавицы тоже! Она должна разгадать секрет! Условия задачи были неполны, чего-то нехватало, а сроки жесткие – иначе она проигрывала, окончательно и бесповоротно проигрывала дистанцию, а этого она не могла себе позволить. Путник вышел из пункта А в пункт Б, путник вышел из пункта Б в пункт А. Где путники встретятся, если скорость первого...? Глупая задача. Путники уже встретились.

Знай она, какое место займет в ее судьбе невидный вежливый подросток, близко бы не подступилась к облупленному особняку с вывеской Дом пионеров [illegible]ского района. Коленкор тетрадки липнул к ладони, форменное платье, отглаженное и отпаренное, делало робкие попытки выдать себя за выходное. Никогда она не видела столько красоты сразу: стрельчатые окна, заостренные кверху, мраморные лестницы, устланные ковровыми дорожками, кресла, люстры, позолота...

... В выемке рояльного бока устроился парень и усмехался, глядя прямо на нее. В углу парни возбужденно спорили, вырывая друг у друга книгу и тыча туда пальцами. Девочка с косами – кончик штопором, сидела, благонравно перекрестив ножки в рубчатых чулках. На нежном пальце синело застарелое чернильное пятно. Девочка ничуть не стеснялась, но Гуля не посмела затеять болтовню. Комната наполнялась быстро. Ребята стянулись к роялю и окружили того, кто, видимо, собирался играть: длинные пальцы на клавишах, что-то тощее, она – не успела разглядеть. Но, едва грянул аккорд, из дверей выкатился чернявый человечек. Очевидно, дополняя недостаток роста, волосы его росли кверху, по дороге изгибаясь спирально: черные штопоры торчали из его темени, воинственно покачиваясь, когда ему случалось разволноваться. Мигом стихнули

от рояля, стулья двинулись к столу, вошедший положил сильную ручку поверх раскрытого блокнота и произнес:

– Начнем, пожалуй, – и мигом оборвались все споры, установилась такая тишина, что отчетливо слышался скрип подошв под столом. – Ну, кто сегодня первый? – Девочка с косами раскрыла толстую тетрадь. Коротышка нахмурился и похлопал ладонью по ковровой скатерти.

– Ничего, Никита Иваныч, ничего, Оля знает правильно. Просто она волнуется. Она будет наизусть, но когда текст рядом, это все равно ободряет. Ничего! – защитник, пожалуй, был из самых старших: возраст виден был не в одежде, а в легкой, уверенной манере. Он на всех посматривал с добродушной снисходительностью, и на руководителя, кажется, тоже.

Во время чтения Гуля с силой стиснула руки. Она и мечтать не могла написать такое! Так вот о чем можно писать! Какие слова называть! Перед ней рывком отдернули занавес, закрывавший большой участок действия, – сколько лет она ходила мимо и не смела туда глазком глянуть, а оказывается!.. Белокурая девочка спокойно читала, а коротышка задумчиво кивал, глядя в окно, тот парень, что стоял у рояля, странно ухмылялся и хмурился одновременно, хотя как будто ни о чем смешном речи не было. Кто-то еще читал, и еще после Оли, – но до слуха Гули доходили только какие-то отдельные слова или строчки и тонули в общем ритмическом шуме. Так, в этом гуле, шуме, с гудящей головой она и доплелась домой, еле живая. А наутро головокружение и трепет показались ей признаками простуды и растаяли, как вчера – озноб под одеялом. Но поэзия совершила обходной маневр и напала с тыла.

В следующий раз, в знакомой обстановке, среди уже виденных лиц головокружение уже не было столь оглушительно. Кое-что ей показалось даже наивным, занудным!

– Ну, а теперь ты, Саня, – тихо пригласил Никита Иванович. – Ну, Филиппов. – Она узнала пианиста. Он неловко загреб пятерней волосы и отбросил их назад. У него было еще несложившееся лицо, на котором всего заметнее выступали круглые глаза без белков и глубокие подглазья. Читая, он

подвывал, упирал на рифмы, и это ей мешало.

И странные то были стихи! Весь город тогда ломился на старую мелодраму, где жестокий раджа мучил безответную красавицу, – и в стихах шла речь о сокровище, об индийской гробнице, о волшебной власти над людьми, а заодно – о струе света из будки киномеханика и о потрясенной тишине в зале. Это он – он сочинил такие слова! Ледяная иголочка, медленно, нащупывая, вошла в нее, и она узнала, что у нее есть сердце. Иголочка воткнулась и, подрожав, замерла. Она всматривалась: бледная кожа, длинные добрые губы, потертая курточка из синей и черной полушерстянки. Иголочка называлась – Саня Филипов, Филя, как его тут называли. Филя! – произнесла она мысленно, и иголочка отозвалась уколом. Он кончил, замолчал, замолчал и Никита, читали другие, но она словно видела вполглаза немой фильм: звук пропал. У нее было дело поважнее: следовало немедленно разобраться во всем, что свалилось. Главное было: что он тут первый. Нет, не это! Он нужен ей. Нужен. Она должна его добыть! Покуда не получит его, она всех будет обманывать, всем улыбаться, охраняя свой замысел, держа в тайне свой путь, потому что мало ли что может стать преградой между ними. Она получит его – или...

Через много лет она поняла, что и там он не был первым. Просто мальчик из хорошей семьи, замороченный слишком старательным воспитанием. Круги возле глаз говорили о том, что в его жизни нехватало не только яблок и мяса, как у всех, но и свежего ветра, звона коньков, тепла речного песка, ропота древесных вершин. Все это пришло ей на ум гораздо позже, когда она с колющей жалостью вглядывалась в бледное личико городской своей дочки. Но это еще когда случится!... А пока его вялые, правильные стихи сияли перед нею недосягаемым образцом поэзии, а его пуговичные глаза – светом самой красоты. Она притащила писклявого ушастого котенка и назвала его Филькой. Котенок облюбовал себе угол между диваном и буфетом, обосновался там и ничочем не желал соблюдать правила санитарии. Каждый раз, когда отец подзывал: – Филя, Филька! – у нее сердце сладко сжималось. Она вдруг останавливалась и ждала, заслышав шаги на лестнице. А то бежала вдоль

переулка, вслед за мелькнувшей ушанкой с отлетающим ухом, чтобы убедиться, догнав, что пешеход годится Филе в дедушки. Без устали и с негаснущей надеждой преследовала она призрак, и продолжала погоню, кажется, и во сне.

Впочем, вся жизнь теперь протекала как бы во сне. По-настоящему она просыпалась раз в две недели: в дни занятий кружка юных стихотворцев. Все остальное, даже потрясающие новости из быта их обширного двора утратили свои яркие краски. Людка иногда пыталась ее будить:

– Ой, ой, ой! А ты знаешь, что в пятом доме? Ты же ничего не знаешь! Оказалось: Варя с третьего этажа гуляла с Гошей из мастерской, он хоть и прихрамывает, а человек хороший и зарабатывает, а тут появился морячок, Варя и голову потеряла. Думали, калека Гоша, стерпит, да не тут-то было! Запер их в подвале, ну в том, в углу двора, плеснул керосином на дверь и поджег.

– Там окошко есть. Они могли убежать.

– Он раньше все обследовал: им некуда было деться, их дымом задушило.

– Ты глупая, – убежденно заявила Гуля, – ты глупая. Так только раньше поступали отсталые люди, а теперь-то! Да этого не может быть.

– Не хочешь – не верь, – безмятежно подытожила Людка, – вольному воля. Поди спроси у теть Дуси-дворника, она сама милицию вызывала, после пожарных. Потушили сразу, а отпереть не могли.

– Да ты все врешь, – сдалась, наконец, Гуля.

– Соври как я, соври как я! – торжествовала Людка. – Он же ей отомстил!

Он отомстил! – вот были слова, отпиравшие этот ларчик. Она его разлюбила, и он отомстил. Значит, за отсутствие любви – за измену – за нелюбовь – надо мстить! Вот что. Вот как поступают. Но все это не имело ни малейшего отношения к длинным пальцам на клавишах, печальным глазам, тихому голосу – всему, что составляло Саню Филиппова...

Дым, кровь, ругань дворников – все это уплыло из ее воображения и памяти, а подспудная работа продолжалась. Ким рос в их же дворе, он был в ее глазах как бы карикатурой на

филю. Он пересекал двор с папкой "музик" на шелковых шнурах, носил очки, не участвовал в дворовых забавах, что не мешало мальчишкам тыкать его носом в снег и швырять в него чем попало. В детстве он был позорно толст, но и теперь еще сохранял облик перекормленного домашнего мальчика. Гуля поставила опыт: сидя с Людкой за доминошным столом и поглядывая искоса, наблюдала, как траектория блужданий послушного мальчика сужается вокруг стола. Заговорила чуть погромче, нежели требовалось. Улыбнулась - чуть-чуть, потом пошире. Людка надулась: до сих пор она одна могла похвастать знакомством с приличным мальчиком из второго подъезда, и вот подруга на глазах узурпировала ее маленькие права. Людку даже не дразнили, до того мелка рыбешка. А между тем, рыбешка глотнула. И проглотила. Тотчас Гуля отвернулась: улыбка исчезла, ресницы опустились, прикрыв плутовское сияние. Ким топтался у скамьи, врытой в каменистую почву двора.

- Говорят, ты играешь в силу гроссмейстера? Всегда мечтала выучиться в шахматы, но, видно, я слишком тупая.

Он, задыхаясь от волнения, принялся объяснять, как еще далеко до гроссмейстера, но если упражняться и постоянно читать литературу, то...

- Всегда поражалась, до чего можно развить в себе волю. Уважаю волевых людей. - Ким густо покраснел, затоптался снова: его еще никто не называл волевым. Людка молча поднялась и пошла прочь, натужно напевая. Ким почти не заметил ее ухода. Однако вежливость требовала продолжать беседу. Он спросил в отчаянии:

- Это ведь твоя подруга?

- До первого парня, - Гуля ясно глянула ему в лицо. Через месяц на губчатых каменных ступенях, ведущих к квартире, где жила семья Гули, протоптались выбоины от кимовых шагов.

- Он, кажется, неплохой мальчик, этот Ким, - заметила мать. - Зачем ты ему морочишь голову?

- У нас чисто дружеские отношения, - отчеканила Гуля.

- Это-то так, - мать усмехнулась, - да вот не слишком ли часто он сюда ходит? Или ты ему помогаешь готовиться к шахматному чемпионату?

Ее крутой лоб, широко открытые глаза, пухлые губы, ее угловатые движения являли собой образ чистой первой юности. Именно такой ее унес в памяти Ким, навсегда поверя в сладкую промашку судьбы: показала, подразнила — и отняла. Отняла то единственное, что было ему предназначено. Она и сама приложила руку к созданию этого образа, чуть подыгрывала: не красила квадратных ногтей, не вставала на каблуки, — застревала в бесшабашной юности, оттягивала наступление молодости. Ни к чему! Вырастая из школьного платья, она не спешила оповестить об этом окружающих. Здесь, в этом надежно укрепленном районе, ей еще многое разрешалось, многое могло сойти с рук. И в то же время этот костюм был ей впору. Что-то пионервожатское, из эпохи костров, походов, что-то простецкое бурлило в ней, находя выход в хулиганских выкриках: — Эй, Людка, жаба! Эй, Кимка, медведь, не клюй носом, день прозеваешь! Ким очень любил ее такой — без кокетства, без церемонной вежливости, с ее задранным носишком, глотающей ветер, бегущей вдоль набережной с шапчонкой набекрень, в засаленном пальтеце...

— Мамуля! Ну кому я могу морочить голову? Что-то ты не то говоришь!

— Ну как хочешь. Я смотрю, ты у нас выросла маленькой шельмой.

— И не такой уж маленькой, и не та-акой — уж..., — напевала Гуля, считая ступеньки, и делая почти балетные па. Сегодня был день занятий в Доме. И на этот раз ей было, что туда нести.

Никита Иванович уже сидел в низком мягком кресле, куда члены кружка не смели садиться вовсе, и оттуда еле виднелись черные штопоры его волос. В этот раз читали по кругу, и когда подошла ее очередь, Гуля не стала чиниться. Теперь она говорила на их, на взрослом языке, и у нее было о чем сообщить по-взрослому, чуть свысока! Неспеша она читала о Кронштоте, о чайках над мутной, тяжелой осенней водой, о гулких шагах по булыге набережных, и Левушка, всехний защитник, после вежливого молчания сказал:

— А знаете, Никита Иваныч, что-то есть! Ну определенно! И в первый раз они на нее посмотрели: и белокурая Оля, и Ле-

вушка, и недовольный чем-то Никита Иваныч, и Саня Филиппов посмотрел тоже. Но она вцепилась в свою тетрадку, не выпускала ее, и руководитель нервно подтолкнул ее:

– Ну, у тебя все? Тогда...

Но тут вклинился Левушка.

– Не надо торопиться, – ласково протянул. – У нее есть еще. Правда?

И она кивнула в ответ. Она прочла название, и насмешник покрутил головой, а Левушка сделал большие глаза, но ее уже нельзя было остановить. Она читала ровно, не подглядывая, за четыре дня она так крепко выучила свою отповедь, что эти четверостишия теперь было не вышибить из памяти ничем. Весь стих был обращением, намешливым и надменным, к Кому: зачем ты – не он? А на самом деле – признанием другому, и уж вот как надо было сейчас, чтобы другой – услышал. Понял. Принял шифровку. Ответил: вас слушают. Хотя бы так! Годы и годы текли, и она отклоняла и отклоняла ненужное влечение и поворачивалась спиной к одному, чтоб глядеть на другого... И вот уже она умолкла, и кто-то сбивчиво, с сомнением в голосе хвалил, а она не поднимала глаз: ждала. Левушка попросил тетрадку, и стали спорить: вошел или вбежал. Никита Иваныч раздраженно погасил спор, ударив раскрытой ладонью по колену:

– Да Лев! Дело не в глаголе движения, дело... Пластики же все равно нет, обычное...

Но тут все загомонили, старшие откровенно и радостно потянулись к двери. И Гуля подняла глаза. Маленькая девушка, стриженная, в английском костюме, переступала туфельками по ковру, улыбалась, прижимая сумочку – и все ее встречали, кто-то вскочил, кто-то даже аплодировал в полном восторге. Левушка поднялся, резко отодвинул кресло:

– Аринушка! Ты свет моих очей!

Клоун подвинул стул ей и что-то шептал в ухо, спрятанное под кудряшками, а Саня Филиппов – тот смотрел, по-детски раскрыв рот, раскрасневшись, и весь он, неподвижный, был – движение и порыв. Ирина села, протянула ручку, сверкнув ногтями, и Никита Иваныч пожал ее бережно как стеклянную. Он и пришелица мигом оказались в центре тесного кружка,

образованного сдвинутыми стульями, только от рояля неслись бравурные, маршеобразные аккорды, и сквозь них Гуля с трудом разобрала: - О цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! - это комментировал насмешник, он же и начал играть, а теперь продолжал кто-то другой, и мелодия так и переливалась фальшивыми, веселыми блестками. Вокруг Ирины галдели так, что рояль ухал, ржал и подсвистывал изо всех сил, и того еще было мало. Говорили все разом, махали руками, но Оля, девочка с белокурыми косами, оказалась вытолкнутой из этого празднества центростремительным движением и смущенно улыбалась в некотором отдалении от него, так же, как и насупленная дурнушка в очках: их выбросило с орбиты. Понемногу шум вошел в русло, стали различимы отдельные голоса, которые вновь слились, но зазвучали наконец осмысленно и стройно:

- По кругу! По кругу, и кто хочет, и читать что хочешь. Свет! Гаси свет!

- Выключатель щелкнул, и настал миг тишины: в комнату ворвались дальние гудки машин и голоса с улицы, темнота поредела, и сквозь нее проткнулись вечерние огни; ветер пробежал, и чувствовалось, как надувается и опадает штора у окна. Еще минуту устраивались поудобнее, шевелились, потрескивали стулья и половицы; и наконец затихли совсем, и пронесся чей-то вздох. В темноте стих начался не словом, а гудением, и лишь погодя из него сложились знакомые звуки: читал Левушка. Но Гуля пропустила первые строчки: волнами ходили в ней горькие, едкие чувства, грозя потопить все ее благоразумие и хлынуть наружу. Кто она такая, эта Ирена! Вот-вот Филя услышал бы ее, вот-вот заметил бы - и все насмарку из-за этой чужой девушки, перед которой они сейчас так пыжатся! Перед Никитой не пыжатся, а перед ней... Из-за нее, все из-за нее! И Филя теперь уж никогда не обратит внимания на нее, Гулю, потому что эта - пришла, хоть ее никто не звал... Между тем Левушка читал о марсианке и о том, что именно он ее должен встретить, непонятную и ни на кого непохожую. Насмешник снисходительно и как бы посмеиваясь над собой, протянул о том, что вдоль улиц спешат девушки - короткие юбки и длин-

ные ноги, и усмешка исчезла из его баритона – теперь он слегка даже пришептывал от волнения, твердя как заклинание: короткие юбки, длинные ноги... А Саня читал следующий отрывок из той же своей бесконечной поэмы, но странно было слышать о страданиях экранной героини и ее картонажных муках, когда кто-то вздыхал в темноте и шелестели листки, говорившие о весенних волнениях при виде бегущих девушек... От злости у Гули мигом выступили слезы: Саня читал тоже для этой Ирены, все для нее! А она – она же просто украла у Гули стих! Украла восхищенное внимание, украла удивление – то самое, которое должно было потрясти Филиппова! Украла!

Последний мальчишеский басок затих, но никто не спешил зажигать свет, и еще какие-то минуты текли в нагретой и душноватой атмосфере комнаты, где плавали под высоким потолком и сталкивались в беспорядке рассыпавшиеся в прах строфы...

– Ну ладно, – бодро сказал Никита Иваныч, – прекрасно. Очень хорошо, что ты к нам пришла, рады мы тебе – видишь? Ребята-то как приободрились! Хорошо! Не забываешь нас! Старая дружба не ржавеет! – он потер руки, но в оживлении было что-то искусственное, похожее на тень обиды, отстраненности. – Не жалеешь, что не на филологическом? Не под сенью муз?..

– Ну что вы, Никита Иваныч, миленький! Я ведь никогда не собиралась на филологию! Что мне там делать, куда мне! Это вот уж мальчики. А мое дело – электротехника. Зовите, если что, проводку починю! – и тут все засмеялись с удовольствием, и Ирена, порозовевшая, с выбившимися из гладкой прически кудряшками, обводила всех сидящих взглядом и смеялась тоже...

...Всю долгую дорогу домой Гуля снова и снова видела этот незадавшийся вечер: вот-вот должен был наступить момент, когда... Но тут она впорхнула – и ход вещей круто свернул в сторону, и все рухнуло, все пропало! Зачем она выбрала именно этот день, мало разве ей было других. И стихи отрубило вместе с походами в Дом, со сборами, с запахом глаженого платья, с колотящимся в предвкушении сердцем – стихов больше не было.

Она больше не гладила перед сном котенка по теплой мор-

дочке – и не подходила близко. Не подливала молока в блюдце, не корила за неряшливость – забыла, выкинула вон из сердца, и даже научилась поддавать ногой под шумок.

Собралась и нацелилась – жить настоящей, а не выдуманной жизнью, смотреть в лицо действительности. Для настоящей жизни стихи не годились вовсе.

И Людку прихватила за собой в институт. Отец вздыхал: – Четыре года еще тянуть. Стар я становлюсь, Маруся!

Мать отмалчивалась. Для тетрадок и учебников ей купили этажерку, с трудом воткнули между шкафом и диваном. И как ни печатала она утренний шаг, лезли мысли без спросу: да полно, не мог ее забыть Саня Филиппов. Не мог не понять! Вот вынырнет из тумана, из снегопада, глянет – и пойдут они рядом, не чуя под собой земли, земли Васильевского острова.

... Людка звякнула на парадном, вошла – еще с напухшими глазами, но обвеянная, припудренная снеговым маревом. Разложили на клеенке конспекты, учебники, Гуля подставила треснутое блюдце под чернильницу.

– Погоди, сказала, – тут еще сном пахнет, – и толкнула форточку. Оттуда с силой внесло пляшущие, острые снежинки, снизу, с панели доносились шаги, ребятишки кричали в скверике через дорогу, – неудержимым течением ее сносило, и она не знала, покоряться или противиться. Мать вошла, когда Людка уже извелась вся. В зевке она показывала нежную розовую подкладку рта и беленькие зубы, на которых лопались пузырьки слюны. Мать пригладила волосы перед зеркалом:

– Девочки, а ну чаю? С сушками. Све-женькие, – и она с хрустом закусила сушку. Людка разом оживилась, зарозовела, уставила на хозяйку дома сорочьи, ровно блестящие глаза.

– Мам, не мешай, – ровным от злости голосом приказала Гуля, – нам еще два вопроса до обеда, не то не уложимся.

Мать глянула светло и невинно:

– А я пока чайник поставлю.

За окном голубело, синело– зажгли электричество, и комната сократилась до светлого круга клеенки, на столе, где умещались вокруг плетеной хлебницы с сушками три чашки и блестели бока металлического чайника. Еле слышно мурлыкал

приемник над отцовой подушкой, Филя вылизывался на столике швейной машинки. Ах, как хотелось, чтобы все было не так! Чтоб не глупая Людка с белой шеей и косищами на ушах таращилась, отражаясь в чайнике, а длинноликий, длинношеий подросток, подвывая, читал стихи, и пусть бы читал хоть до завтра, лишь бы гудел глуховатый басок, длилось и не разрешалось блаженное ожидание... До боли, до внезапного света в глазах хотелось прямой простоты, ясности. Ни мук, ни обид, ни самолюбивых метаний - ничего этого не надо бы, а надо все совсем другое...

Должно быть, это ей и было послано, да иначе прочитала она те незаметные для окружающих события, которые стали для нее так важны.

Филю она встретила в троллейбусе. Прежде чем в постройневшем уверенном мужчине проступили черты близорукого парнишки, что-то ее кольнуло, толкнуло изнутри. Не она к нему подошла - на этот раз он подошел.

- Ох, здравствуй! Я ведь не путаю? Ты - Гуля, ты, - он улыбнулся краешком рта, снисходительно, - любила писать про корабли, про море... Ведь я не наврал, нет? - она с трудом кивнула. - Ох, я рад, что тебя вижу! Золотое, невозвратимое детство! - он вновь тонко улыбнулся, - а вот веришь ли: встретишь кого-нибудь из той поры - и приятно. Прямо словно и сам молодеешь. Ты слыхала о наших успехах? Нет? Ну как же! Левушка теперь - в кино подался, это его... - и он назвал фильм. - И Костик! У него уже сборник, и, представь, рецензии!

- А ты? Ты же был лучше их всех! - она тут же пожалела и закусила губу, но искра уже сверкнула в его темных глазах, и он помрачнел:

- Не будем преувеличивать. Я, увы, просто мэнээс, самый, что ни на есть... Это старо как мир... Ну, очень, очень. - он стал пробираться к выходу, и она, как привязанная, двинулась вслед. На остановке он быстро растаял в толпе, и сразу пошел снег. Троллейбус медленно, с натугой преодолевал подъем на мост, перевалил, мигая огнями, а снег шел, пышный, нарядный, отделяя завесой троллейбус от проспекта. Снег ми-

гом отрубил все перспективы, из-под его занавеса в свет фонаря выныривали фигуры с белыми плечами и головами. Она стояла и не могла сдвинуться с места. Она застыла как-то странно: изнутри, озноб бил ее, и, если б сейчас пришлось разговаривать, ей было б не разлепить губ. Назавтра снег растекся, чернели мокрые мостовые, и молодость ушла от нее с этим утекшим снегом... То, чего она, оказывается, еще продолжала ждать от людей, — не сбылось и сбыться не могло.

Нет, ясность и прямота — это не получилось, но лишь через много лет она собралась с духом, чтоб найти, наконец, место обрыва нитки... Здесь, что ли? ...На собрании объявлено, что молодые специалисты их профиля особенно нужны на стройках Восточной Сибири. Один за другим будущие специалисты, записные отличники и развеселые троечники поднимаются на трибуну. Кто как: кто смешком и студенческим трепом, кто — патетически и высокопарно клянутся — только туда, только на линию огня.

— Гулька! Гуля пускай скажет! Гуле слово! — кричит камчатка. И великолепным жестом отвечает председатель президиума:

— Да вы что, ребята! Гуля — молоток! Гуля — в первом эшелоне! Ух кто-кто... И она кивала, изо всей силы сжимая пальцы с коротко остриженными ногтями: она и сама знала, что не подведет. Что ветер в окно вагона, что рюкзак за плечами, что безголосая, но стройная пемня — это ее участь. И шли эшелоны, и кто-то, сгибаясь под тяжестью, падал лицом в холодный мох, и песню затягивали дрожащие голоса — в пробитых злыми ветрами палатках. Но без нее ушли те поезда, и песни без нее пелись.

Как же, когда это вышло, что никуда не поехала, а прилежно кропала диссертацию и в свое время защитилась, и в свое время получила звание? И Людка! Кто бы кто, но Людка! Вместо того, чтобы поздравить с зачислением, загадочно протянула:

— О-о, ты какая! Во-он что, оказывается! — и тут же злые слезы закипели в ее глазах. — А что говорила-то! Как выступала! Делать — так самое трудное! Я мечтала быть пара-

шютистской! Парашютистка! В тайгу звала, мы не пропадем, там же все свои! У! Ненавижу! – и выбежала, хлопнув дверью. Но не успокоилась: ведь ей подруга все эти годы напоминала девочку в красном галстуке, с горном в руке, заглядевшуюся в небо. Такую фотографию Людка нашла в журнале и прикнопила над столом, но Гуля была еще лучше фотографии: так решительно хмурились ее брови, так четко звучали слова ее чуть-чуть мальчишеских стихов.

Гуля пожала плечами: Людка ничего не понимает. Детство. Все, что ни к какой цели не ведет, не результативно, как выражается ее муж, – это детство.

– Да, – говорил он, – да, это все превосходно, но – где результат? Не вижу результата.

Теперь вот она добилась результатов. И так рвалась она к этой своей видимой, отчетливой цели, что смерть отца прошла как-то мимо, почти незамеченной. Она хмурилась и отворачивалась, когда он с виноватой улыбкой пытался выговорить что-то, уже ненужное, искривленными, непослушными губами, когда ловил ее взгляд, поворачивал за ней глаза, залитое неподвижной, невыливающейся влагой... Дальний родственник распоряжался похоронами, и она едва скрывала раздражение: мать, внезапно умалясь до сухонькой старушки, буквально глядела в рот чужому старику. Нет, нет! Ей тут больше не было места! И среди своих смешных детских вещей она оставила на старой квартире две тетрадки стихов. Они быстро запылились, закинутые за пачку учебников.

... Они пришли среди дня, и гулин муж положил на клеенку стола два паспорта. – Это что же? – спросила мать, постучав кончиками ногтей по столу.

– Мама... Это мы... мы поженились... Ну ты же все знаешь...

– Мария Ильинична! Мы только из загса. Это вам, – с этими словами он выложил на стол коробочку конфет и глянул тяжело, не мигая.

– Тогда что ж... Тогда давайте чай пить, – без голоса отвечала мать и засуетилась.

– Мама, мам! Ты хоть поздравь меня! – Гуля сунулась но-

сом в теплую, мягкую шею и по-щенячьи всхрапнула. Мать жестковато обняла ее.

– Ну-ну, – отстранила дочь, горестно глянула в лицо. – Где жить-то будете? Хотя что я. – И вдруг, словно сказанное только достигло ее слуха, порозовела, закружилась по-молодому, и быстрые вихрики завертелись вслед за ней.

... На обратном пути муж остановился под фонарем, острое пламя лизнуло папиросу, он затянулся и, успокоенный, пошел размеренно. – Ты пойми. Ты должна меня понять. С детством покончено! Все эти... – он поискал слово и, щелкнув пальцами, извлек его из воздуха, – эти эмоции – их надо исключить. С детством покончено. Все это... – увлечения, искусство... это надо забыть. Целеустремленность! Воля! Логика! А не это. Эти-сен-ти-менты! Надо ставить перед собою цель – а потом к ней идти. Мы же взрослые люди, в конце концов! – некоторое повышение к восклицательному знаку выдавало остатки неуверенности. Он почувствовал слабое сопротивление, еще не вытесненное до конца аспирантскими заботами, взял за плечи и повернул к себе.

– Ну что? Я неправ? – это было произнесено с такой мягкой иронией, с такой ясной интонацией превосходства, что она вздохнула, с наслаждением отдаваясь на милость победителя.

Но был ли он победителем, ее муж, – вот какая мысль точила ее порой в далеком городе, куда ей все же пришлось отправиться вдвоем с дочкой, потому что муж сказал на прощанье:

– Учти, человек должен верить в свою удачу. Ну, у нас с тобой не получилось – ну, еще не вечер. У тебя есть обаяние, своеобразнее, правда, но... Верить в свою удачу! И идти к ней.

– Слышали, – отозвалась она. – Надоело, правда.

И вяло отстранила его руку.

А на перроне, за пять минут до отхода поезда, когда публика понемногу уже втягивалась в вагоны, тяжело топая, малиновая от бега – появилась Людка! Растрепанный букет мел по земле, шарф болтался, она похудела, но можно ли было ее не узнать! Как крепко они обнялись и покружились на скрипучих

досках. Как Людка всхлипнула у нее на щеке. Как это было – мгновением возврата в прошлое, в душную теплоту простой и ясной жизни, где все прощают, всегда помнят и всегда ждут. И – звонок. И – прощай! Прощай, Людка! Прощай, город первой любви! И Людка на перроне, с шарфом в кулаке – единственное, что осталось от того, иного, давно прожитого. Дверь купе мягко закрылась. Дочка, поджав узкие губы, глядела исподлобья.

– Не хочу! – сказала она и заплакала – молча, кривя рот и крепясь изо всех сил. – Не хочу!

Она переждала плач. Девочка устало прислонилась к теплому плечу.

– Ложись-ка ты спать, Настасья, – сказала она. – Вот я тебе расстелю. Их спутники вошли в купе. Горела одна лампочка под потолком, Настя посапывала во сне, мужчины полезли на свои полки, и скоро воцарилось молчание. От спящей девочки исходило слабое тепло, вагон потряхивало, а Гуля готовилась не спать и вспоминать, вспоминать, неожиданно обнаружив свое самое дорогое наследство.

ooooooooooooo